

В.А. ЧАЛМАЕВ

# «ГОРНИЦА» НИКОЛАЯ РУБЦОВА

## ТЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗДОМНОСТИ — РАСТУЩЕЙ БЕДЫ РОССИИ В XXI ВЕКЕ



Владимир Телин. Россия. Беженцы. 1995

**«Изражена судьба, очаг испепелен»:** поиск спасительных вечных причалов — главный смысл духовного пути Рубцова.

Замечательный русский композитор XX века Георгий Васильевич Свиридов (1915—1998) с какой-то трогательной нежностью относившийся и к «святой простоте» зрелого Сергея Есенина, и к Николаю Рубцову, «ангелу Родины незлобивой моей» (К. Фофанов), с пророческой грустью сказал в прямой связи с сиротской судьбой этого поэта, выделив исходную мысль: «Страшно увеличилось ощущение бездомности русского человека. За последние годы» (Свиридов Г.В. Музыка как судьба. — М., 2002).

Разве не испытывали чувства сиротства, бездомности Виктор Астафьев, ссыльнопоселенец в Игарке, и заброшенный послевоенной судьбой в Казахстан курянин Евгений Носов, и навсегда потерявший родную деревню, ушедшую на дно рукотворного моря, Валентин Распутин? Тень раннего сиротства, жизни «в людях» без родного очага, без идеи Дома как целостного душевного уклада коснулась многих писателей, поэтов, певцов. А безотцовщина Шукшина? Отчаяние на развалинах семьи и детдом восьмилетнего Венедикта Ерофеева, создателя поэмы в прозе «Москва — Петушки»?

Николай Рубцов, родившийся 3 января 1936 года в городке Емецке Архангельской области, пятый ребенок в семье, в шесть лет (в 1942 году) потерявший мать, а вслед за этим и отца, погибшего на фронте, отданный в детдом в селе Никольском под Тотьмой, испытал горечь сиротства и бездомности, полной безытийности, пожалуй, в самой полной трагической мере. О ребяческой детдомовской «обиде» на раннее сиротство он, в сущности «подранок» войны, скажет еще сдержанно: «Для нас звучало / Как-то незнакомо, / Нас обижало / Слово "сирота"...» Он даже пошутит как-то грациозно над слу-

чайно выскочившим на лесную дорогу испугавшимся зайчишкой, не знаящим,

*...Что друзей-то у него  
После дедушки Маза  
Не осталось никого...*

С годами это чувство одиночества, тоски по своему, родному человеку, не красовскому дедушке Мазаю, спасающему зайчишек, а главным образом по матери обрело почти трагическое звучание. Никто не прощал непрактичному, хрупкому Рубцову — особенно домоуправы, с их паутиной справок, распорядители ресторанов, в особенности ЦДЛ — его дисгармоничного, вспльчивого характера, жажды устанавливать справедливость даже в мелочах. Но ведь мелкие обиды всплывали от большой Обиды! Множество раз Рубцов будет вспоминать — прямо или косвенно — именно безмолвную, все понимающую мать. «Мать придет и уснет без улыбки» («Прощальная песня»); «Мать моя здесь похоронена / В детские годы мои» («Тихая моя родина»); «Матушка возьмет ведро, / Молча принесет воды» («В горнице»). И если он порой говорил: «Ищу простой сердечный быт» («Кружусь ли я...») — и не находил его вплоть до 33 лет, не имея ни постоянной прописки, ни квартиры даже в Вологде, — то это тоже говорилось о матери, о ее сердце, о русском огоньке доброты. Можно ли удивляться тому, что после бесконечной сменяемости общежитских коек, замелькавших после детдома — во время работы на Кировском заводе, работы на тральщике на Балтике, после казарменных «уютов» на Северном флоте, студенческих коек Литературного института с 1962 года, поэт написал предельно искреннее стихотворение о спасительном причале «Русский огонек».

#### Опыт анализа «музыкального слова» Николая Рубцова

Стихотворение «Русский огонек» начинается с типичной для Рубцова картины странствий, безотрадных скитаний. Конечно, скитаний вынужденных, обусловленных множеством причин. Нет, безусловно, особой чуткости в словах тех, кто задним числом говорит ныне о Рубцове: «по натуре Рубцов был бродягой», «образ жизни Рубцов вел беспорядочный, богемный», «был... даже люмпеном» (Павловский А. Николай Рубцов // Русские писатели. XX век. — М., 1998). Все внешне похоже и все... неверно! Особенно в свете его же «Русского огонька», даже одного прекрасного начала:

*Погружены в томительный мороз,  
Вокруг меня снега оцепенели!  
Оцепенели маленькие ели,  
И было небо темное, без звезд.  
Какая глушь! Я был один живой,  
Один живой в бескрайнем мертвом поле!*

*Вдруг тихий свет — пригрезившийся,  
что ли? —  
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...*

Боль не выставлена напоказ, она даже не названа, но отголосок ее звучит в недоверии к огоньку, к внезапному свету — «пригрезившийся, что ли?».

По интонационной фактуре (напевный тип) стихотворение изначально противостоит всем вариантам модной в 60-е годы говорной интонации с ее шумными возгласами, обращениями («Граждане! Послушайте меня!» и т.п.) к потенциальному читателю, гражданскими проповедями. Напевность усиливают повторения глагола «оцепенели» и подчеркивание одиночества двойным повторением строки «я был один живой». Как усилена тема оцепенения: «томительный мороз», «мертвое поле», «небо темное», «в пустыне!» Свет русского огонька, «русского света» (В.Распутин) в мертвом поле, среди оцепенения не яркий и не слабый — он скорее кроткий, «тихий». «Тихий ангел пролетел» — не в таком ли свете? Ударные раскатные звуки и ударные краски изгнаны ради одного: лишь бы усилить звучание столь же тихих, негромких, кротких истин, которые живут в сердцах людей, еще поддерживающих огонек, готовых сказать путнику: «Вот печь для вас... И теплая одежда»... И в целом сберечь для России русский свет...

Кто же они, эти держатели спасительного огня, те, кто в ответ на предложение оплаты, на брэнчание монет, отвечают: «Господь с тобой! Мы денег не берем...»? Они рождют в путнике ответное обещание.

*— Что ж, — говорю, — желаю вам  
здоровья!  
За все добро расплатимся добром,  
За всю любовь расплатимся любовью...*

Этой женщины, вероятнее всего, чьей-то матери, узнавшей горечь утрат, гибели сыновей, как всегда в стихах-сновиденьях Рубцова не видно. Есть только горестный намек на ее сиротство, на блуждания ее памяти в прошлом. Намек возникает при беглом осмотре «желтых снимков», то есть настенных фотографий далеких уже, предвоенных и военных лет: «Сиротский смысл семейных фотографий...» Этот намек усилен дважды повторенным вопросом: «Скажи, родимый, будет ли война?»

Может быть, все очарование лирики Рубцова в подобных молчаливых, во всяком случае очень немногословных душевных движениях? В способности поэта и переживать как свою боль даже далеких и чужих утрат? В его своеобразных, если угодно, муках тихой печали, даже светлой меланхолии, когда образ дорогого ему человека, той же матери, образ себя самого в детстве так хочется возродить, удержать

в памяти? И когда он, этот образ, непрерывно ускользает, меняется, увя, утрачивается? Как тень мифической Эвридики от античного певца Орфея?

Финал изумительного стихотворения — это уже апофеоз добра, громкое утверждение мысли, что «свет не без добрых людей», что среди всеобщего кочевья, временных причалов и приютов еще есть милосердие, добротолубие, есть именно русский огонек:

*Спасибо, скромный русский огонек,  
За то, что ты в предчувствии  
тревожном  
Горишь для тех, кто в поле бездорожном  
От всех друзей отчаянно далек,  
За то, что, с доброй верою дружа,  
Среди тревог великих и разбоя  
Горишь, горишь, как добрая душа,  
Горишь во мгле, и нет тебе покоя.*

В других стихотворениях тема «русского огонька», расплаты добром за добро, как форма истинной взаимосвязи людей, принимает характер молений, просьб к России, предостережений. Действительно, «нет тебе покоя».

В стихотворении «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» поэт открыто говорит о своих страхах перед измельчением, обмелением жизни.

Он обнажает неабсолютность и временность множества «истин» грубого пресупевания эгоизма, безбожия. Лирическая личность, создаваемая поэтом, явно укрупняется: ей отчасти ведома и православная панорама мира с некой возвышенной силой, дарующей милость, и суэта массового измельчания:

*Боюсь, что над нами не будет возвышенной  
силы,  
Что, вытлыв на лодке, повсюду достану  
шестом,  
Что, все понимая, без грусти пойду до  
могилы...  
Отчизна и воля — останься, мое  
божество!*

Без грусти, без утрат, оказывается, нельзя идти по жизни... Мелководье, упрощение — это уже полная утрата того, что «душа хранит» (не память, а душа). Поэт словно предугадал то, что ныне философы называют главным мошенничеством массовой, липовой, рекламной псевдокультуры: «Создание образа жизни без утраты... В рекламе жизнь — это жизнь в ничем не ограниченной полноте, потому что в любой момент мы можем купить себе новую вещь и пережить жизнь еще прекрасней» (М.Янион). Но вместе с такой безгранично «счастливой жизнью» («Мечты сбываются!» — указатель в сторону банки майонеза!) исчезает и память о родстве, и способность к боли и состраданию. Возни-



Антон Стеколытсов. Вечернее сияние. 1994

кает не очаг тепла, не «русский огонек», а лживая общность ничьих людей с урезанными желанием и чувствами. Замолкает целый оркестр чувств. А потому поэт вновь и вновь уверяет себя и других: «В этой деревне огни не погашены, / Ты мне тоску не пророчь» («Зимняя песня»); «Огонь в печи не спит, переключаясь / С глухим дождем, струящимся по крыше» («Осенние этюды»); «Россия, Русь! Храни себя, храни!» («Видения на холме») и т.д.

\*\*\*

#### Опыт анализа стихотворения «В горнице»

Это лаконичное стихотворение с удивительным зачином (запевом), тем, что в классической японской или корейской поэзии называется образно, но вполне понятно, «изголовье песни» («подушка песни»):

*В горнице моей светло,  
Это от ночной звезды.  
Матушка возьмет ведро,  
Молча принесет воды, —*

показывает секрет негасимости «Русского огонька»: он способен оживать и в свете «звезды полей», в свете того, что душа хранит, в особом звучании тишины Родины. Если Рубцов действительно был «путником на краю поля», как удачно сказал его биограф Николай Коняев (а ведь «жизнь прожить — не поле перейти»), то весь путь этого путника, как общенационального поэта, состоял из тревожных уходов и возвращений. Он весь в кружении, в непокое, полон обостренного созерцания и слуха («Я люблю, когда шумят березы», «Острова свои обогреваем», «И меж берез, домов, полениц / Горит, струясь, небесный свет!» и др.). Он вечно уходит и... не уходит. Не стоит поэто-му мрачнеть вместе с поэтом, уверявшем в

«Дорожной элегии», что он вечно — в разлуке с чем-то дорогим:

*Дорога, дорога,  
Разлука, разлука.  
Знакома до срока  
Дорожная мука.  
И отчее племя,  
И близкие души,  
И лучшее время  
Все дальше, все глуше.*

В действительности — и это секрет «легкой светописи» всей поэзии Рубцова — светлые души и мгновения всегда с ним. Они все ближе и ближе...

Что же за «горница» возникает в стихотворении «В горнице»?

Загадочно в самом напеве, в «изголовье песни» этого стихотворения многое. Откуда явилась в эту горницу, светелку, освещенную даже не светом луны, что вполне возможно, а невероятным светом звезды, молчаливая мать, названная нежно «матушка»? Не частица ль это страдающей по горным высотам души, все той же сиротской души поэта? Как возникает это ведро, внесенное в горницу, полное живой воды (полное ведро — к счастью)? Скорее всего это — тема какой-то жгучей жажды душевной, чувства неисполненного долга? Тема тех же «горних высот»?

Две последующие строфы стихотворения о неполитых, увядших цветах «в садике моем», о лодке забытой, догнивающей на речной мели, наконец, обещание

*Буду поливать цветы,  
Думать о своей судьбе,*

приближают к читателю далекую, очень непростую драму 1942 года. Тогда чужие люди объявили осиротевшим пяти детям: «Ваша мама умерла». Драма не разверну-

та, сжата, уведена куда-то внутрь. Не все объясняет и подсказка исследователей: мол, поэт просто «забыл» снабдить стихотворение подзаголовком «сон», хотя явно разворачивает именно сновидение, возрождает свет звезды, который освещает никогда не умиравшую в памяти поэта мать. А горница — это его тоскующая душа. Это все отчасти справедливо, но надо включать в анализ этого стихотворения и другие строки поэта о матери, о ночной звезде, «звезде полей», о лодке. Ведь увядшие красные цветы возникают еще раз в стихотворении «Аленький цветочек», в котором поэт вспомнит одну из весьма немногих идиллических картин детства, еще так недолго похожего на детство:

*В зарослях сада нашего  
Прятался я как мог.  
Там я тайком выращивал  
Аленький свой цветочек...*

Его, этот цветочек, он нес за гробом матери... Может быть, и он, цветочек, нереален, символичен, как и «лодка» — символ движения на тот берег, в шумную, сложную жизнь?.. И сновидческая реальность («сон окутал родину мою») — это самая доподлинная реальность для поэта: в ней смягчены, утоплены боли и обиды, здесь поэт спасает свое «я»?

Анализ черновых вариантов этого исповедального стихотворения, в котором безмолвная тень матери всколыхнула душу, а ночная звезда ярко осветила вечное обязательство взращивать этот цветочек, знак благодарности матери, любви («буду поливать цветы»), позволяет создать множество дополнительных версий понимания. И его, и всей лирики поэта, тоже его «горницы». Да, это сон, а свет звезды — это небесный свет, замерцавший в душе... Да, и эти «красные цветы мои», что в «садике завяли все», неразрывно связаны с матерью, с ее смертью. В черновиках остались две чудесные строфы, к сожалению, вычеркнутые, явно расширяющие «Горницу»:

*Сколько же в моей дали  
Радостей прошло и бед?*



Борис Шаманов.  
Васильки. Зеленая розь. 1973

*Словно бы при мне прошли  
Тысячи безвестных лет.*

*Словно бы я слышу звон  
Вымерших пасхальных сел...  
Сон, сон, сон  
Тихо затуманил все...*

\*\*\*

**Диалог поэта с Россией** в стихотворениях «Душа хранит», «Тихая моя родина», «Над вечным покоем», «Журавли», «Ферапонтово» не имел аналогов в поэзии 60–80-х годов.

Их и сейчас часто не понимают, создавая из поэзии Рубцова неземную «страну без соседей». Вошло в моду подчеркивать явную «нездешность» Рубцова, его иллюзорную, ангельскую природу, его обращение только к смиренной тишине, к таинственным, «бездонным глубинам, недоступным для государства и общества, созданных цивилизацией», обращенным к безначальной «стихии ветра», к пению «незримых певчих» (В.Кожин), настаивать на его причастности «к тому, что, в сущности, невыразимо» (М.Лобанов). Биограф поэта Николай Коняев в своей, в целом крайне ценной книге, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», порой эту легенду о нездешности во всем библейского Рубцова, эдакого Моцарта, занесшего в нашу грубую эпоху несколько «песен райских», доводит до предела. Даже обычный ливень, естественный для Севера затяжной дождь

*— Седьмые сутки дождь не умолкает,  
И некому его остановить —*

якобы связан «с грозным десятым стихом из седьмой главы книги “Бытие”»: «Через семь дней воды потопа пришли на землю». Да ведь такие потопа, такие будничные апокалипсисы на Вологодчине вполне естественны: это вовсе не наказание земле, не Божья кара, о которой пишет далее Н.Коняев, за то, что «она растрепана, ибо всякая плоть извратила путь Свой на земле» (Коняев Н. Николай Рубцов. — М., 2001). Да ведь у природы нет плохой погоды...

Если верить в такие высокие, но все-таки книжные, отвлеченные истоки сновидений Рубцова, то не объяснить: почему она не столь тяжеловесна, как поэзия премудрого его земляка, Н.Клюева, почему его певческая сила столь близка, понятна, душевна, открыта всем? И почему потребность в его слове так конкретна, так определена у всех, кто жаждет очиститься, просветлиться перед памятью поэта? Жаждет повторить вслед за поэтом — как вызов всему жестокому, бесчестному, что грубо, деспотично навязывается Родине! — его строки:

*До конца,  
До тихого креста*



*Игорь Орлов. Поднебесье. 1996*

*Пусть душа  
Останется чистой!  
Перед этой  
Желтой, захолустной  
Стороной березовой  
Моей?..*

Диалог поэта с Родиной, Русью или с «этой деревней», в которой «огни не погашены» (все та же тема «русского огонька!»), наконец, со «старой дорогой», где «русский дух в веках произошел», как правило, свершается под знаком вечности. На часах поэта как будто нет секундных стрелок современности. Здесь — века, как мера времени, здесь стоит «как сон столетний Божий храм». И даже мелькает береза — «старая как Русь, / И вся она как огненная буря» («Осенние этюды»). Даже шум берез кажется ему куда более вечной музыкой, нежели все дрязги так называемой театрализованной, «социальной» жизни:

*...Слушаю — и набегают слезы  
На глаза, отвыкшие от слез.*

*Все отчетлется в памяти невольно,  
Отзовется в сердце и крови.*

Еще большую власть над временем имеет светлая печаль «путешествий в детство»: она «как лунный свет овладевает миром». В целом, если учесть, что поэт нередко уточняет смысл образа «звезда полей» в разных стихотворениях, говоря даже о России «О, Русь — великий звездочет», то и сам образ Руси для него высок и несокрушим, нетленен, свят. Ее звезд — не свергнуть с высоты!..

И все-таки поэт — это именно «подранок войны», дитя XX века, его современник, пасынок и любимец. Не отбрасывайте Рубцова в холодную вечность, умножая его сиротское одиночество. Не забывайте его единственное, пожалуй, громкое уверение:

*С каждой избой и тучей,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую кровную связь.*

Как углублялась эта связь, поистине смертная?

При жизни Николай Рубцов выпустил всего четыре небольших книги лирики: «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970). Лишь на первых порах — и то крайне непрочно, уступая, может быть, публицистическому давлению «вологодской школы!» — он наспех вписался в среду так называемых «почвенников», «деревенщиков», заступившись за «неперспективную», как говорили тогда, деревню, за избу — малую модель вселенной:

*Ах, город село таранит,  
Ах, что-то пойдет на слом!  
Меня все терзают грани  
Меж городом и селом...*

В дальнейшем поэт как бы вышел из этих плотных публицистических рядов, где провозглашали, что «добро должно быть с кулаками» (С.Куняев), где горько сетовали при виде окраины, бараков («И города из нас не получилось / И навсегда утрачено

село». — А.Передреев). Или пробовали — что тоже было творческим подвигом! — увековечить красоту особого «лада», соборного строя деревенских душ и единения без принуждения и команды, утвердить в споре с надвигавшимся на село «разладом» («Лад» В.И.Белова).

И что же Рубцов? По сути дела, все чудесные запевы, зачины рубцовской лирики — это взлеты чувства над любой публицистикой, над всеми, чей дух не согревается в молитве, над теми, кто

*...ищут драки  
на газетных и прочих полях...*

Вечное и современное плотно сплелось, сгустилось в его зрелой лирике. Переберите в памяти хоть некоторые из запевов, обращений к себе или к Руси: это часто самостоятельные, миниатюрные стихотворения из одной, двух строк! Почти верлибры... Они преисполнены опыта страдания века и сострадания, молитвенной страстности, стремительного восхождения от внешнего к внутреннему:

*Тихая моя родина!  
Ивы, река, соловьи...*  
«Тихая моя родина»

*Остановись, дороженька моя!  
«Гуляевская горка»*

*Горел прощальный наш костер,  
Как мимолетный сон природы.*  
«Прощальный костер»

*В минуту музыки печальной  
Я представляю желтый плес.*  
«В минуту музыки»

*Взбегу на холм  
и упаду  
в траву.  
И древностью повеет вдруг из дола!*  
«Видения на холме»

Кажется, что это остановленный «час души», миг души... Текста мало, а вот подтекст беспределен. Произнесенное слово быстро отзвучит, но «эхо», звучащая пауза явно не кончается, длится, становясь содержанием. Егор Исаев, издавший рубцовскую «Звезду полей» в издательстве «Советский писатель», справедливо сказал, что в свой, предельно «здешний», диалог с Россией от внес сразу всего себя, всю нежность и бескорыстие надежд, веры, внес свою «даль памяти» и «суд памяти»: «Есть задушевность, раздумчивость и какая-то тихая ясность беседы. В ней есть своя особая предвечерность — углубленный звук, о многом говорящая пауза... Слово его не столько обозначает предмет, сколько живет предметом, высказывается его состоянием. Да, она (поэзия Рубцова. — В.Ч.)

во многом о прошлом. Но мимолетное прощание всегда предопределяется мимолетностью и несерьезностью встреч. И такая мимолетность не свойственна творчеству Рубцова. *Он, если прощается, то обязательно любя. Он как бы печалуется любовью. А если уж встречается, то тоже для того, чтобы полюбить. Его стихи учат чувству мучительного постоянства*» (курсив мой. — В.Ч.).

В диалоге с Россией Рубцов обладал, конечно, одним поистине беспредельным простором, которого, как он предвидел, больше всего страшились все недруги России: ему было необыкновенно *просторно не в прошлом, а в вечном*, там, где «русский дух произошел» («Старая дорога»), где царствует «бессмертных звезд Руси, / Спокойных звезд безбрежное мерцание» («Видения на холме»), где «вечен час прогусленный» («В минуту музыки»). Он буквально увлекал и утешал — без натужного утешительства и заклинаний! — тех, кто еще искал единения с душой Родины, с ее песней, ее святой простотой:

*О, сельские виды! О дивное счастье  
родиться  
В лугах, словно ангел, под куполом синих  
небес!*  
*Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная  
птица,  
Разбить свои крылья и больше не видеть  
чудес.*

И потому, как пронзительно заметил в другом случае критик В.Кожин, Рубцову так необходим был почти неземной свет, идеальнейший, звучащий вид матери. Во всей его поэзии, при всей точности природно-ландшафтной среды, как мы отмечали, много молчания, много невысказанных вопросов, но почти отсутствуют ударные краски, собственно красочность. В ней живет — в любой строке, в любом пейзаже — свет.

*Светлым покой  
Опустился с небес.*

*Когда заря, светясь по сосняку,  
Горит, горит, и лес уже не дремлет.*

*Светлыми звездами нежно украшена,  
Тихая зимняя ночь...*

*Светятся тихие, светятся чудные...*

Это, конечно, свет той печали, о которой Пушкин сказал: «Печаль моя светла». И свет сердца — почти начало «святости» в душе. Ведь молитва — это тоже свет, свечение и мерцание доброты, слово-светильник, начало «русского огонька». «В душевном порыве, в красках его поэзии, — писал о Рубцове Г.В.Свиридов в своем

дневнике, — с преобладанием густого черного цвета, столь характерного для Севера России» («Музыка как судьба»), в итоге побеждает именно неземной свет, сберегающий связь времен, отгоняющий все беззвездные кошмары, способные оцепенить природу и народ. «Слово «свет» и другие слова этого корня... встречаются в стихах Николая Рубцова более ста раз, — писал В.Кожин. — Слова «белый» и «черный»... чаще всего имеют не цветное, а световое значение... Стихия света уже сама по себе есть нечто такое, что в равной мере свойственно и миру, и человеческому духу... Свет в поэзии Николая Рубцова — это душа мира и в то же время истинное содержание человеческой души, «святое» в ней» (Кожин В. Николай Рубцов. Русская литература XX века. — М., 1999. — С. 469, 475).

Может быть, именно поэтому многосложные, утонувшие в риторике понятия «национальная идея», «русская идея» для Рубцова — это совсем не то, что выдумали, напророчили те или иные движения, партии, мыслители-бердяевы, а то, что «возвышенная сила», в конечном счете Бог, предопределила России, промыслила про ее судьбу, ее вечность. И потому высший долг поэта — в молитвенном порыве, в прозрении вестника («На пределе мысли и в начале молитвы» — как сказал Л.Н.Толстой), — разгадать, считать с небесной книги эти знаки, письмена, узреть, как узрела душа святого Ферапонта «что-то Божье в земной красоте», повторить подвиг его и живописца Дионисия. Об этом духовном подвиге основателя монастыря и живописца Дионисия Рубцов писал:

*И однажды возникли из грезы,  
Из молящейся этой души,  
Как трава, как вода, как березы,  
Диво дивное в русской глуши!  
И небесно-земной Дионисий,  
Из соседних явившись земель,  
Это дивное диво возвысил  
До черты, недоступной досель.  
Неподвижно стояли деревья,  
И ромашки белели во мгле,  
И казалась мне эта деревня  
Чем-то самым святым на земле.*

Вот для какого подвига, вот для каких вещей молитв, «дыханий духа», когда поистине «разверзаются глубины нашего сердца» (О силе молитвы: По руководству о.Иоанна Кронштадтского. — СПб., 1905. — С. 28), и нужна была в израненной судьбе поэта самая жгучая, самая смертная связь с Родиной. Если художественное произведение — это дом из слов, в котором можно жить всем, то горница Николая Рубцова — именно спасительный очаг для всех, его «русский огонек» над Россией. ■